



## Ход истории

Моя старшая коллега Нина Шалимова (выпуск ГИТИСа 1977 года), которая училась у Маркова, а ныне сама преподает в Ярославском театральном училище, рассказывала мне, как однажды она спросила у Павла Александровича: "Почему вы не эмигрировали?" "Мы молодые интеллектуалы, — ответил он, — были убеждены, что России предстоит великое будущее, и мы хотели работать для этого будущего, — после паузы добавил, — а еще — невероятная вера в Блока. Вы даже не представляете!"

Не знаю, как восьмидесятилетний Марков соотносил реальность семидесятых со своими же юношескими чаяниями грядущей эпохи. Считал ли он, что то будущее еще не наступило или, напротив, не наступит никогда? Скорее всего — ни первое, ни второе. Никто не властен подтолкнуть ход истории, но властен

быть достойным современником, тем самым почитая и историю. Сегодня, когда не счастье примеров циничного, спекулятивного, а порой, и просто глумливого отношения к прошлому, фраза дворянина Маркова о двадцатых годах разбивает идеологическое клише как брежневской, так и перестроечной России.

Марков мужественно принимал ход истории, как принимали его Станиславский и Немирович, но Марков, как и его великие учителя, не эмигрировал внутри страны, а стремился жить вместе с ней, в надежде не на свое, а на ее великое будущее.

Дух марковского уважения к прошлому не был сродни священному преклонению академика перед научной абстракцией. Истоки этой почитательности иные — доверие к пережитому, прожитому опыту, как своему, так и к опыту другого.

Благодаря одной фразе Павла Александровича я на всю жизнь полюбила пьесу В.С.Ро-

зова "Вечно живые".

Шел семинар, как раз обсуждалась эта пьеса. Мы воспринимали войну, как повод поговорить о дне сегодняшнем. Проза Василя Быкова, фильмы Анджея Вайды — это правда, а Розов — неправда! Мелодрама, белые и черные герои и так далее. Дошло дело до Маркова. Воцарилось безмолвие. Свою первую фразу он выдохнул с каким-то нетерпением: "Но так было!". Казалось, он скажет: "Дети мои!", но он повторил более настойчиво: "Так было. Одни шли на фронт и погибли, а другие предавали за пазем в тылу".

Марков, кажется мне сегодня, продолжал скрыто апеллировать к нашему нравственному началу, и подразумевалось, что моральные императивы просты, но окажешься ли ты сам способным просто и мужественно выбрать не пазем.

Ольга ГАЛАХОВА



С Шостаковичем и его женой

## Дмитрий Шостакович: "Ты для меня самый близкий друг"

1932, 1 ноября. Из Ленинграда в Москву

Дорогой Паша. С радостью убедился, что и простые письма благополучно доходят до адресата. Теперь буду писать простее, а то мне лень ходить на почту и стоять в очередях. Вначале изложу к тебе просьбу. Когда увидишь Столярова, то попроси его посмотреть самый конец третьего акта "Леди Макбет" (партитуру), и пусть он сообщит мне последнюю цифру в нотном тексте и последнюю страницу партитуры в моей рукописи непереписанную, а то я начал четвертый акт и не знаю, какой номер поставить страницы и цифры. Пожалуйста, попроси это его сделать. Это очень важно. Второе. Если уже переписана партитура последней картины третьего акта, то пусть он мне срочно перешлет мою рукопись, так как я сейчас помимо сочинения четвертого акта, делаю "образцовый" клавир, годный для печати. Н/рзб./ хочет напечатать клавир "Леди". Я хочу срочно сделать для него клавир. Итак: если уже переписано, то пусть вышлет почтой или с оказией, если таковая будет. Я через шесть-семь дней смогу ему вернуть, так как клавир двух актов уже сделан и теперь надо приступить к третьему, а для этого нужен конец третьего акта. Я буду очень рад, если вопрос с ГАБТом утрясется безболезненно, но сильно в этом сомневаюсь, так как у ГАБТа руки длинные, и он начнет мне всячески Н/рзб./ и травить меня.

Кроме этих вышеописанных дел есть еще одно, я бы сказал, первоочередной важности. Вчера состоялось очередное заседание правления ленинградского Союза композиторов. На заседании было постановлено задействовать перед ЦИК СССР о награждении меня к 15-летию Октябрьской революции орденом Трудового знамени. Мотивировка за действие такова: я честно работал за время моей сознательной жизни с партией и рабочим классом, несмотря на мою тяжелую прошедшую жизнь (тяжелое в высшей степени материальное положение и тому подобное), я не утратил веры в победу Октябрьской революции и проникнулся все большим и большим энтузиазмом в деле создания советской музыкальной культуры. Кроме того, моя работа, производимая с беспредельной преданностью партии, пролетариату и советской власти, обладает громадными достоинствами "философско-художественного" порядка. Вобщем, говорили так много хороших слов, что я чуть не расплакался, будучи по природе человеком нервным. Кроме того, говорили, что я подвергался сильной травле со стороны покойной РАПП, и несмотря на это, я не утратил веры в советскую музыкальную культуру и не покладая рук работал в самых разных областях музыкального искусства. Одним словом, единогласно постановили задействовать перед ЦИКом о соотвествующей награде. Все это было очень и очень трогательно. Говорили даже о моих скверных квартирных условиях. Я же убежал и дома всплакнул немножко, потом стал трезво рассуждать: получу или не получу. И трезво все это взвесив, я решил, что не получу. Присутствовало вчера на заседании правления ССК человек двадцать пять. Сегодня уже весь город трубят о вышеупомянутом случае, и если я не получу никакой награды, то насмешкам и издевательствам не будет конца. А награды получат, по моему мнению, следующие т.т.: Баратов за "Псковитянку", Голованов за талант, Волков и Дмитриев (либретто балета "Пламя Парижа"), Асафьев (музыка означенного балета) и другие и другие. Обидно и больно будет мне, если мне ничего не дадут. Не посоветуешь ли ты мне чего-нибудь. Например: написать письмо Калинин с просьбой не награждать меня, а заверенную копию письма к Калинин хранить у себя и показывать всем насмешникам. Я растерян, не знаю, как быть. Я никак не думал, что об этом, то есть о награждении меня орденом Трудового знамени будет разговор. А раз разговор начался, то я отравлен, и мучаюсь, и страдаю. Срочно посоветуй мне что-нибудь.

Борис ЛЬВОВ-АНОХИН

Окончание на 10 стр.

## "Я не пророчествую, я констатирую и закрепляю"

"А у кого вы учились? — У Маркова. — Да?" Собеседник глядит недоверчиво, мысленно сопоставляет даты, приходится пояснить: это был набор 78-го года, последний марковский набор в ГИТИСе, на втором курсе его с нами не стало. Собеседник понятиливо кивает, признав за мною право формально считаться "марковцем", и исчезает из алфавита.

Конечно, Павел Александрович (в кругу учеников и друзей прозывается: "ПалСаньч") был совсем старенький. Когда он приходил, мы помогали ему подняться по лестнице, ставили рядом с его стулом в аудитории еще один: Марков облокачивался на спинку и сидел, подперев кулаком голову. Говорил тихо и мало. "Спросите его о чем-нибудь!" — уговаривали нас. Мы стеснялись: было боязно потревожить попусту или, того хуже, сморозить глупость. А когда Маркова ни о чем не спрашивали, он расстраивался. Ему казалось, что он никому не нужен. Мы не догадывались об этом: дураки были, хотя и благоговейные.

И все-таки у Маркова мы учились отнюдь не "формально". Мы знали, что с нами — великий критик: в его присутствии силы как-то конденсировались. Разумеется, его книги стали настольными: сразу же и навсегда. Не только и даже не столько разборы курсовых, сколько статьи черного четырехугольника обучали нас искусству рассуждения о театре. "Дневник театрального критика" мы не просто получили из рук в руки — мы самих себя воспринимали как главу в этом дневнике (в разделе "Из неоконченного"). И, соответственно, в истории театра. Это должно быть сказано без пафоса и без нахальства: ощущение личной причастности к истории сформировалось на курсе рано и как-то само собою — просто потому, что два раза в неделю с нами приходил возиться человек из поч-

ти немыслимой исторической перспективы: Марков, тот самый. Твердая, непререкаемая "та самость" Маркова: может быть, она и есть главное. Она поразительна — жить так долго, так четко, так безошибочно умели в русской культуре XX века очень немногие. Жизнь, полностью совпавшая с судьбой: более, чем счастливая — образцовая. Как хорошо и естественно статьи Маркова складываются в книги: как правильно подобранные кусочки смальты — в мозаику. Марков учит думать о критике как о движущей истории театра. Учить "констатировать и закреплять".

Только что процитированные и вынесенные в заголовок слова взяты из статьи 1922 года "Фореггер и Масс". Хочется привести еще полфразы: "Этот уязвленный современностью человек..." — пишет Марков о Николае Фореггере: отнюдь не укоряя, но определяя свойства личности и качества работы. Самому Маркову эта уязвленность была совершенно чужда, хотя вчуже — совершенно понятна.

Критический гений Павла Маркова — гений определений. Он фундаментален. Влияние Маркова распространяется не по стилистическим приметам, а по точности выбора слов, отвечающих на вопросы "что это?" и "какое оно?". Стиль Маркова прозрачен (не следует путать прозрачность с бесцветностью) и, как правило, чужд эмфазе. Увидеть. Если не учиться, то удивиться и определить суть театрального явления — основное дело критика; красота слога, заразительность, влияние — второстепенны.

Какая это радость: листать его книги, останавливаясь почти наугад. Дивиться если не учиться, то удивиться пронизательности (не следует путать пронизательность с пронзительностью) и безупречной верности слова. Какое удовольствие: заниматься театральной критикой, тщательно выбирая существенные слова. Разумеется, оно не всегда удается, но другого способа полюбить эту профессию нет. Во всяком случае, нас ему не учили.

Александр СОКОЛЯНСКИЙ

## Через всю жизнь

Павла Александровича Маркова я знал с детских лет. И его сестру, преданного друга и помощника, наивную и приветливую Марию Александровну, и добрейшую, уютную "маму Саню" — их тетку, заменившую Маркову мать, умершую при его рождении. Дело в том, что моя мама Лидия Митрофановна Анохина подружилась с Марией Александровной, когда им обоим было по пятнадцати лет, а Павлу Александровичу лет десять. Часто при мне они вспоминали благословенное крымское местечко Айпанду, где встретились в 1907 году и провели вместе три счастливых лета. Маруся, Павлик, Лидуша — так они величали друг друга до глубокой старости.

Мама оставила записки, где подробно вспоминает о семье Марковых. Вот что она пишет о Павлице крымского периода: "Видела я его и бегающим и смеющимся, но все-таки он больше обращал на себя внимание чем-то совсем не мальчишеским, не детским — серьезностью и сосредоточенностью на каком-то мире в себе. Я помню, что когда ему было двенадцать лет, я заинтересовалась и спросила о нем у Маруси. Она сказала, что он очень умный, что уже читал и Толстого и Достоевского, и что он ведет литературный альбом, который никому не показывает, но мне она обещала потихоньку от него показать. Это был большой альбом с серыми толстыми листами, которые были заполнены какими-то записками, вырезками. Долго я рассматривать не могла, Маруся боялась, что увидит Павлик, но успела увидеть поразившую меня вырезку статьи Толстого "Не могу молчать". Там были и записки самого Павлика. В этом альбоме худенького мальчика рождался П.А.Марков, будущий крупнейший критик, театровед и педагог".

Итак, еще до войны, в детстве и подростковом я бывал с мамой в деревянном доме в Хомутовском тупике, в тесноватой, уютной старомосковской квартире. Помню

еще маму Саню, мирно раскладывающую свой вечный пасьянс и начинавшую трогательно хлопотать, как только появлялся ее обожаемый Павлик. В этом доме, сидя где-то в уголке, я видел многих знаменитых актеров, часто посещавших Марковых. Мое детское воображение почему-то особенно поразила зеленоглазая красавица Пилявская, казавшаяся мне таинственной и очень гордой.

Помню замечательные марковские сочельники. Вот как пишет о них мама: "В столовой, в углу ставилась большая елка. Она убиралась дореволюционными украшениями и восковыми свечами, хранившимися у мамы Сани. И вот в сочельник в шесть часов зажгли на елке свечи, гасилась свет, и все, кто там был, сидели молча с полчасика и любовались переливающейся и мерцающей от света свечей красавицей-елкой. Создавалось какое-то старое рождественское настроение. И потом за ужином всем вспоминалось дореволюционное рождество, святки с гаданьем, катанье со снежных горок и тому подобное". В то время рождественские елки были редкостью, поэтому мне так запомнились эти вечера.

После войны, которая надолго прервала общение с Марковыми, я снова стал бывать в их доме. Мамы Сани уже не было. Я учился в театральном институте, потом поступил в ЦТСА. Тогда я показал Павлу Александровичу свои первые литературные опыты. Он прочел и сказал: "Тебе стоит, надо писать. Но имей в виду, что протезировать, покровительствовать тебе я не стану. Всего добивайся сам". И потом, радуясь моим публикациям, часто, добродушно подтрунивая надо мной, он был доволен, что ему не пришлось "рекомендовать" меня ни в одну редакцию. Марков бывал и на всех моих премьерях, и в конце концов написал большую статью моей режиссерской деятельности, которая напечатана в четвертом томе собрания его со-

чинений.

Я часто бывал у Марковых в их новой квартире на Студенческой улице, тоже гостеприимной, уютной, но все-таки без того старомосковского очарования, которое было в Хомутовском тупике. Здесь я нередко встречал его учеников, впоследствии известных наших театральных критиков. Естественно, что возникали дискуссии и споры.

Надо сказать, что каждое слово критики в адрес существующих порядков горячо поддерживалось Марией Александровной, яркой антисоветчицей, чьи темпераментные высказывания порой носили довольно опасный характер, чего она по своей наивности совсем не учитывала. Это вызывало у Маркова гневные восклицания, вроде: "Маруся, немедленно перестань!"

На Студенческой я бывал уже без мамы, она сломала ногу и редко покидала дом, выбираясь только на мои спектакли. На одном из них произошла последняя встреча мамы и "Павлика". Об этом повествует запись в ее воспоминаниях: "Меньше чем за год до его смерти у меня была с ним неожиданная и очень радостная встреча. Это было в январе 79 года на премьеры "Мамуре" в Малом театре. После спектакля мы встретились с Павликом в служебной раздевалке, бросились друг другу в объятия, целовались, что-то спрашивали, что-то говорили. Это было так бурно-радостно, что все присутствовавшие, кажется, косились на нас и, наверное, думали: "старцы, а ведут себя, как юнцы!"

Павел Александрович нередко вел себя как юнец — душевная молодость, даже детскость и живость не оставляла его и в глубокой старости. Его насмешливая нежность, его, лишенный какой-либо сентиментальности, полуродственные отношения были мне очень дороги.

Борис ЛЬВОВ-АНОХИН

Снимки для публикации предоставлены музеем МХАТ.

## Павел Марков: "Увлекаюсь сам собой"



С Николаем Эрдманом

Напомню дату первого письма Павла Александровича Маркова: июнь 1930 года. Людям жилось тяжело. Культ личности уже сказывался в статьях, в портретах, в чересчур пронзительных аплодисментах при упоминании имени Сталина. Но скованности еще не было. Москва была прежней: Китай-город, Красные ворота, Симонов монастырь, Сухарева башня, все было как обычно. Еще зеленым было кольцо Зубовского, Смоленского, Новинского бульваров с их вековыми деревьями. Разрушение памятников старины было впереди, хотя первые побег "нового сознания" уже были. Началось новое десятилетие.

МХАТ жил своей особой жизнью. В середине мая 1930 года театр отправился на гастроли в Тифлис и Баку. Возглавлял поездку директор театра Михаил Сергеевич Гейтц, пришедший в МХАТ в сентябре 1929 года. Станиславский был за границей. Немирович-Данченко оставался в Москве. В Москве оставался и Марков.

Степанова играла на гастролях Аню в "Вишневом саду" (Тарасова, занятая в "Отелло", была в Москве) и Мариэтт в "Воскресении". В то время Лина Степанова еще не занимала отдельного положения, но все, что складывалось в ее жизни на сцене МХАТ, складывалось устойчиво и надолго. Характер у нее был уравновешенный, работать она умела, никогда не нарушала границ строгого вкуса и знала, что в театре ее уважают. Молодая женщина, с изысканным красивым лицом, была редкой индивидуальностью и умела жить самостоятельно. Все это знали. После "Воскресения" ее положение в театре крепко утвердилось, хотя все еще было впереди. Ей было 25 лет. Павел Марков был ее близким другом. Он очень любил ее и, главное, доверял ей. Она была посвящена во многие тайны его личной жизни, о которых другие могли только догадываться. Летом на гастролях в Тифлисе она получала письма из Москвы. Постоянно ей писал Павел Марков. Он, один из немногих, знал, что у нее нехорошо на душе: разлаживалась ее жизнь с Горчаковым, она тосковала и чувствовала себя одинокой, в ее отношениях с Николаем Эрдманом еще было много неясностей. В личном архиве А.И.Степановой сохранились письма П.А.Маркова. Предлагаем для публикации три письма.

### Письмо Маркова

"На конверте: Тифлис-Городской театр. Гастроли Моск.Художественного театра. Ангелине Иосифовне Степановой. 6 Июня.

Дорогая, хорошая Линочка. Не сердись на меня — я не сволочь, писать мне трудно, усталость и пустота совсем овладели мной. Жизнь течет скучно и однообразно: вечерами в каких-то театрах, днем в заседаниях. Сезончик выдался не из легких. Катастрофа с Синицыным завершила длинный ряд неприятностей. Вчера было чтение пьесы Николая. После всех событий она производит грандиозное впечатление. Вся ее двойная линия беспокоит, тревожит — все в один голос говорят о ее исключительной талантливости и о нелепости и тревожной туманности основных позиций пьесы. Сейчас только что у меня сидел Леонидов, который долго хвалил пьесу, сказал, что это самое сильное, что написано за 12 лет.

Вл.Ив. недоуменно хвалит. Настроение в труппе — скверное. И улучшения не предвидится. Сегодня после мороза потеплело, светит солнце, тепло и даже хочется жить. Новостей нет — а если и есть, то все мелочь, о которой писать и скучно, и лень. Не думай только, что я тебя забыл. Я очень тебя помню, люблю.

Нежно целую. Павел.  
В Москве оставалась часть труппы. Играли "Отелло", "Синюю птицу", "Квадратуру круга" Ка-

таева, "Нашу молодость" Карташева, инсценировку романа Кина "По ту сторону" и "Трех толстяков" Олеси. Сказка Олеси трудно репетировалась, трудно выпускалась. В конце концов рухнула декорации, и спектакль, недожив до сотового представления, был снят. А публике он очень нравился, и особенно Суок — Морес и Тибул — Синицын. Он сыграл его последний раз 27 мая, а 28 мая — погуб, упав из окна третьего этажа. Ему было 37 лет, в театре он пробывал недолго, пришел в 1926 году. Человек был яркий, очень талантливый артист, замечательно играл Яго в "Отелло". Степанова впоследствии вспоминала: "В театре знали, что он был большим человеком, но от этого было не легче. Говорили, что он не упал, а выбросился из окна. Так и не знаю, была эта отчаянная или нечаянная смерть".

Леонид Миронович Леонидов (1873-1941) — прославленный артист МХАТа (пришел в Художественный театр в 1903 году), любил захаживать к Маркову. То было, действительно, трудное время для театра. "Отелло", его играл Леонидов, прошло всего десять раз, зато репетировался Судакковым по плану Станиславского. Играли много спектаклей и на гастролях, и в Москве. Театр, привыкший к определенному стилю и порядку, вынужден был примериваться к новым условиям жизни. Все мечтали о современных пьесах. "Самоубийца" показалась спасением. Эту пьесу Леонидов высоко ценил, и Степанова вспоминает, как он часто возвращался мыслями к этой пьесе, а в письме Маркова речь идет о первом чтении "Самоубийцы". Пьесу мечтали поставить во МХАТе, в театре Мейерхольда. Как известно, она нигде в те годы поставлена не была.

### Письмо Маркова

"На конверте: Проезд Московского Художественного театра.

Московский Художественный Театр. Ангелине Иосифовне Степановой. Дорогая подруга, что обозначает твое длительное и подозрительное молчание. Стоило мне только приняться за письменные дела и отправить тебе 2 письма (помимо первого и этого), ты замкнулась. Что с тобой? Я в тревоге и беспокойстве. В твою голову пришли какие-то решения, ты писала своей маме, что "привыкаешь к одиночеству". В каком смысле? Я ничего не знаю о твоих летних планах, хотя и сам не имею оных. Напиши, пожалуйста, прямо — если ты на что-нибудь сердита и, в объятиях Баталова, вырвала меня из своего сердца. Я веду образ жизни ти-

хий, покерный и сиротливый. Имею много неприятностей, переживаю их кротко и лишь изредка впадаю в деловитый период. С пьесой Николая полно не вырешено — ее должны слушать ответственные лица — тогда дело вырешится. В Москве — туман на тебе, туман на улицах, туман в душе. Рассейте его немножко. Ваши письма очень нужны вашему тоскливому другу. Нежно целую. Павел".

Дата на письме не проставлена, на конверте нет штампа. Судя по всему, письмо кем-то привезено в Тифлис или в Баку, куда переехал МХАТ на гастроли. Во время поездки молодые собирались своей компанией: Хмелев, Станицын, Ершов, Комиссаров, Елина. Иногда к ним присоединялся Судакков, иногда — Баталовы. У Баталова с Судакковым были "трения", и это порой мешало спокойствию. Перечитывая письма Маркова, чью дружбу Ангелина Иосифовна ценила всю жизнь, она заметила: "Почему он пишет "В объятиях Баталова"? Это явная ошибка, мы были дружны с "Лелей" (Андровской) и никогда никаких особых отношений с Баталовым не было. В той поездке летом 1930 года я сдружилась с Хмелевым, это я помню, потом все бывало по-разному".

Сезон 1930-1931 гг. был тоже нелегкий. Критика громила "Воскресение", "Синюю птицу", "Отелло". А Немирович-Данченко, отправляя из Берлина труппе МХАТ письмо к открытию сезона 1 сентября 1930 года, писал: "Когда отойдешь в сторону от непрерывной текучести нашего дела, оглянешься на пройденное, чтобы сделать оценку ошибкам и достижениям, тогда с особенной яркостью видно, какое громадное, какое первенствующее значение имеет в нашем деле наше искусство. Не будем засорять его ни халтурой, ни бытовыми дрязгами, ни пустозвонством, ни дурной моралью. Верую, что нам и природой и традициями отсыпано в большую меру и таланта и прекрасных намерений. Желаю здоровья, удачи и сил претерпевать невзгоды".

В этом сезоне Степанова играла небольшие роли в шумной "Рекламе" Уткинс, имевшей ошеломляющий успех, вводилась в "Три толстяка" и играла свой прежний репертуар. Летом, как обычно, уезжала отдыхать на юг.

### Письмо Маркова, 1931 год

"На конверте: Курорт Гагры (на Черноморском побережье)

Гостиница Риеца, номер 30 Ангелине Осиповне Степановой Верея, 15 августа

### Окончание. Начало на 9 стр.

Вот какие дела. Я, как Бурдюков из "Владимира 3-й степени", отравлен мечтой об ордене и волнуясь нещадно.

Дело мое с квартирой двигается. Получаю я квартиру из четырех комнат, 70 квадратных метров. Дмитриевской переулок, д.3, кв.5. Я так измучился со своей мечтой о сносном существовании, что уже не верю в это. Когда въеду в квартиру, обязательно приезжай ко мне погостить, я надеюсь, что в январе-феврале 1933 года въеду. Кроме того, просьба еще одна. У меня нету копии моего договора с театром Немировича-Данченко. Если возможно, то /нрзб./ договор. Не полагается ли мне денег. А то я сейчас сижу на мели. Если полагается (всего я получил три тысячи), то попроси мне переслать телеграфом за мой счет. Буду за это очень благодарен и тебе и театру.

Крепко тебя целую. Привет Мордвинову, Столярову, Рейнгерцу, Шлуглеиту и многим другим. Нина хворает, но кланяется.

Д.Шостакович

Срочно отвечай. И еще одно дело. Помнишь наш разговор о моей работе в театре Немировича-Данченко? Если из этого что-нибудь вышло, то вышли мне, пожалуйста, бумажку о том, что я состою на службе в театре и получаю столько-то. Это мне надо для домоуправления, а то они обложат меня квартплатой как свободную профессию, и я тут волком взвою. Сделай это, пожалуйста. Срочно сделай.

Д.Ш.

Квартира в Москве необходима. Из ТРАМа я ушел.

1934, 27 января. Из Ленинграда в Москву.

Мой милый и дорогой Паша. С самого начала этого пись-

## Дмитрий Шостакович: "Ты для меня самый близкий друг"

ма прошу тебя принять мои уверения в глубокой нежной дружбе к тебе. Ты для меня самый близкий друг, к которому я всегда хочу стремиться в минуту жизни трудную, и я убежден, что всегда найду у тебя поддержку и дружескую помощь. Мне мучительно больно, что ты на меня обиделся за мой выпад против театра, но если бы ты был тонким психологом, то, наверное, пенял и простил бы меня. Ты помнишь, когда во время моего предпоследнего приезда в Москву я смотрел генеральную репетицию, я чуть не плакал от восторга перед спектаклем. Неужели ты не веришь, что это было сделано искренно, от всего сердца. И неужели ты не можешь себе представить, что моя реплика в театре после второго акта на втором спектакле является ничем иным, как нелепой вспышкой автора, думающего, что его опера, любимейшее детище, провалилась\*. Нет, пожалуй, человека, которого бы так любил и ценил, как моя жена. И тем не менее я очень часто с ней ссорюсь и говорю ей самые обидные слова. Если бы все это принималось ею за чистую монету, то она уже давно не была бы моей женой. И я прошу тебя от всего сердца. Забудь. Не было ничего. И не будет. Я со страшной боязнью жду от тебя письма. Я боюсь, что ты меня будешь упрекать. Я боюсь твоих упреков, потому что они будут несправедливы. Я в данный момент страшно одинок. Нина меня всю дорогу ругала за то, что мы уехали из Москвы с общественного просмотра. Она довела ме-

ня до такого состояния, что я сейчас плачу горючими слезами. Я обладаю рядом отвратительных качеств, которые мне так мешают жить. Первое из них — это повышенная ревность и мнительность к своим вещам. Я глубоко убежден, что мне надо подняться выше этого, но никак не могу. Не хватает сил. И когда публика кашляет в театре, то это равносильно для меня ударам ножа по окровавленной ране. Я пережил два спектакля в театре Немировича-Данченко и один в Мих/айловском театре. Я никогда не мог бы подумать, что это окажется до такой степени тяжело. Здесь нет кокетства, здесь нет кривляния. В это, мне кажется, никто не верит, ни ты, ни Столяров, ни Нина. Подожди, пускай пройдет десять спектаклей. Я успокоюсь и буду с восторгом слушать Столярова и смотреть спектакль. Сейчас мне необходим перерыв. И сегодня я не иду в Мих/айловский театр, ссылаясь на то, что я не вернулся из Москвы. Мое состояние особенно мучительно, что я чувствую, что я моим отъездом из Москвы нанес обиду театру. Я эту обиду заплачу, даю честное слово, что заплачу тем или иным способом. И если театр меня любит хотя бы в десять раз меньше, чем я его люблю, то меня поймут и мне простят. Если это письмо придет до того, как ты мне будешь писать, то прошу тебя, воздержись от упреков. Они будут мучительны. Крепко тебя целую.

Твой Д.Шостакович.

Публикацию подготовила сотрудница Музея МХАТ Екатерина ШИНГАРЕВА

\* Речь идет о двух первых исполнениях "Катерины Измайловой" в Музыкальном театре имени В.И.Немировича-Данченко. Премьера — 24 января 1934 года.

Экран и сцена